

Карлова О.А., д.филос.н., профессор СФУ

**Национальная идея в России:
культурно-исторический генезис и факторы актуализации**

Аннотация. Статья посвящена проблеме национальной идеи в России в контексте устойчивых культурных смыслов, а также выявлению единства и различия культурно-исторических матриц русской классической и советской литературы; в статье уточняются аспекты «ведущих культурных смыслов» разных эпох, особенности их трансформации и актуализации в XX-XXI вв.

Ключевые слова: национальная идея, культурная революция, идеал, социокультурная норма, русская классическая литература, советская литература, пролетарский гуманизм, советский человек, женский литературный образ.

Дискуссии о национальной идее

С начала XXI века и по сегодняшний день в России много говорят о поисках национальной идеи - объединяющего «ведущего смысла» нации. Многие считают, что Россия утратила эти «ведущие смыслы» в 90-е годы XX века, выбрав идеологию потребления. Еще больше тех, кто полагает, что исконные «ведущие смыслы» были разрушены Россией значительно раньше, на революционном переломе 20-х годов. Действительно, даже сегодня, спустя столетие, кажется, будто стремительный вихрь смел тогда вековые устои России, разбивая святыни, разделяя семьи.

В описании российского флага сказано, что белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий – верность, безупречность и целомудрие; а красный – мужество и смелость, великодушие и любовь. Так гласит геральдика. Но если обратить взгляд в ретроспективу отечественной истории, то возникает совсем другая версия цветов российского триколора. «Культурная революция» 20-х годов сменила «исконный синий» цвет России на кроваво-красный цвет СССР. Означало ли это полное разрушение

традиционной русской культуры? Был ли выразителем «русского духа» исключительно непротивленец и философ Лев Толстой, или в не меньшей степени «русским» можно считать «революционное практическое буревестничество» Максима Горького? Даже спустя сто лет эта проблема остается актуальной, и пролить белый свет истины на этот предмет помогает, на наш взгляд, не политика, а философия.

Неслучайно на рубеже XXI века, когда страна, казалось, уже прочно встала на рельсы идеологии потребления и капиталистического развития, западные ученые чрезвычайно удивлялись тому, что в России то и дело «в странной смеси вновь появляются мифы, отчасти ведущие начало еще с дореволюционных времен, из XIX века, отчасти возникшие в советское время...»¹. Точно также и сегодня многие россияне разделяют мысли, которые высказывали не только выразитель «глубин русской души» Лев Николаевич Толстой, но и его оппонент «буревестник революции» Алексей Максимович Горький. «Синие» и «красные» смыслы живут и по сей день в народном самосознании. Почему это происходит?

Гипотеза

Ответить на этот вопрос можно, только слой за слоем поднимая глубины культуры и идеологии России, как известно, воплощенные в нашей тысячелетней литературе, которая отражает самосознание народа, «включающее историческую память, знание о возникновении и исторических этапах жизни своего этноса, национальные чувства и интересы...»². Сравнивая мотивы и идеи литературных памятников разных эпох, можно обнаружить устойчивые элементы русской национальной культуры – своего рода глубоко укорененную национально-смысловую матрицу. Проверим предположение о том, что именно связь с этой матрицей дает статус «национальных идей» тем или иным мыслям, которые высказываются философами, писателями и политиками. Предполагаем, что благодаря именно этой связи национальные идеи предшествующих эпох, как будто заснувшие на время, всплывают вдруг на поверхность истории.

Культурный идеал и политическая декламация

В ответ на послание от Н.Н. Ге в марте 1884 года Лев Толстой пишет: «Дорогой Николай Николаевич. Очень порадовали меня своим письмом. Мы живем по-старому, с тою только разницею, что у меня нет такой пристальной работы, какая была при вас, и от этого я спокойнее переношу ту нелепую жизнь, которая идет вокруг меня. Я занят другим делом, о котором скажу после, - таким, которое не требует такого напряжения. Книгу мою, вместо того, чтобы сжечь, как следовало по их законам, увезли в Петербург и здесь разобрали экземпляры по начальству. Я очень рад этому. Авось кто-нибудь и поймет...»³. В этом своем конфискованном сочинении «В чем моя вера» Толстой пишет об идеалах русского человека. Отсюда и понимание самой русской культуры, смысл которой - в отличие от культур большинства европейских народов - основан не на нормах, а на идеалах. Через призму совершенного идеала воспринимает русский народ свою исторически непростую жизнь. А потому, считал Толстой, особенно горько ему видеть вокруг греховное времяпровождение и жалкое состояние страны, от того идеала весьма далекое.

Пожалуй, западным обывателям проще: норма – дело понятное, в повседневности привычное, прописанное в правилах и законах. А попробуй жить, как русский человек, глядя с «идеального пригорка», перед которым и закон плох, и правила никогда не будут справедливыми! Многие русские мыслители рвались в Европу, а когда попадали – ругательски ругались: стыдно было им смотреть на сытое равнодушие европейского обывателя, на его самодовольство и безразличие к жизни души и духа. По давним заповедям российским, о которых писал Лев Николаевич Толстой, душа обязана трудиться, устремляясь к нравственному совершенствованию и всякому доброму почину. Не зря Льва Толстого называли «зеркалом русской революции», как, впрочем, и всей культуры России. Смысл его романов непосредственно связан с народными идеалами.

Та же связь с идеалами породила многовековую линию политической декламации в отечественной литературе. В древнерусских летописях она представлена жанрами слова и политического послания, потом были государственно-просветительские оды Михаила Ломоносова и Гаврилы Державина. Просветитель и поэт Державин, в годы воинской службы принимал участие в подавлении восстания Емельяна Пугачева, позже активно осуществлял экономические преобразования в чине правителя Олонецкого и Тамбовского наместничеств, а затем прославился как государственный деятель при дворе Екатерины II. Стихотворение Державина «Гром победы, раздавайся!», созданное в 1791 году, стало первым неофициальным гимном России. Линия государственного просветительства от Державина ведет к историку Ивану Карамзину, наставнику будущего государя поэту Василию Жуковскому и отчасти – к Александру Сергеевичу Пушкину. В этой же традиции просветительства выступали позже поэт Алексей Константинович Толстой, философ Владимир Соловьев и целая плеяда поэтов-младосимволистов.

В 1815 году на экзамене в Царскосельском лицее Державин «заметил и благословил» юного Пушкина и его друзей - будущих декабристов. С записок Радищева, пьес и стихотворений Ивана Дмитриева, которые были исполнены «огня любви к Отечеству», с трагедии Якова Княжнина «Вадим Новгородский» и лирики Кондратия Рылеева началось, пожалуй, наиболее мощное, второе течение от того же корня русской политической декламации – так называемое, «вольнолюбивое», гражданственно-демократическое. С ним связано творчество Алексея Плещеева, Ивана Никитина, Николая Добролюбова и, конечно, Николая Некрасова. В советское время об этой традиции говорили: «Поэт в России больше, чем поэт», однако Владимир Набоков видел в этом «бОльшем» гибель художественности советской литературы. Советская литература трактовала это «бОльшее» как причастность великому историческому делу - делу справедливой победы Всемирного революционного Интернационала.

Культурно-идеологическая ретроспектива: от «новых людей» к советскому человеку

Это «бОльшее» досталось советской литературе в наследие от великих революционеров прошлого. Вот что писал Николай Гаврилович Чернышевский 5 октября 1862 года в письме к жене из Алексеевского рavelина Петропавловской крепости: «...Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех тех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь!»⁴.

Таких борцов, предвестников революции было немало и в XIX веке. Даже дворянин Иван Тургенев не мог пройти мимо «новых людей». Революционерам 20-х годов были близки по духу его «практический человек» Базаров и борец за свободу Болгарии Инсаров. Но ближе всего подошел к пониманию образа революционера разночинец Чернышевский в своем романе «Что делать?». Конечно, российский рахметов был заложен еще «бунташным веком», в нем немало от Стеньки Разина, Емельяна Пугачева, от декабристов. В «Катехизис революционера» Бакунина и Нечаева уже прочитывается эта революционно-практическая, без нравственных сомнений и колебаний, постановка вопроса о власти. И в 1922 году именно так ставил этот вопрос Андрон Непутевый, герой одноименной книги, написанной А. Неверовым. Он идет против матери и отца, против «всей жизни», в отчаянии восклицая: «не жалеть нельзя и жалеть нельзя»! Жалость в 20-е годы еще не изжита – но по мере движения к 30-м годам классовое сознание в литературе все более укрепляется. И вот уже пролетарская писательница Валерия Герасимова показывает классовый конфликт матери и дочери в повести «Жалость» таким образом, что если мать не стала товарищем дочери по борьбе, она непременно окажется виновницей ее смерти, а значит, и врагом. И вот уже пролетарский писатель

Федор Гладков поставил на Первом съезде советских писателей вопрос о героизме как быте и норме поведения советского человека.

1934 год. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Точка отсчета монолитной советской литературы, которая показала добровольное или насильственное самоотречение советских людей от раскованного, многогранного и в чем-то непредсказуемого своего «я». В статье известного русского мыслителя из эмигрантов, религиозного философа и историка Георгия Петровича Федотова приведен такой портрет советского человека 30-х годов: «Он крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолобив и довольно черств к страданиям ближних...»⁵. Статьи Г.П. Федотова считались клеветническими, но идеальные советские люди в литературе 30-х, вбирая в себя достоинства больших коллективов, были именно такими.

В романе лауреата Сталинской премии Петра Андреевича Павленко «На Востоке» - о будущей победоносной войне СССР над Японией – советские люди описываются довольно показательно: «На преодоленных трудностях росла душа советского человека. Она становилась мудрой в двадцать лет, и ранняя мудрость залегла в ней на всю дальнейшую жизнь секретом прочной молодости. Чуть постарев в двадцать лет, советский человек остается молодым до пятидесяти и дольше. Из года в год он становится умнее. Остатки старых чувств увядали и созревали новые чувства души... Все видимое становится человеком. В поисках счастья он должен был стать простым, ясным и смелым. Жизнь заставляла его стать таким или отбрасывала без стеснения»⁶.

Молодость роднит героев Петра Павленко с их литературными предшественниками - Базаровым, Инсаровым и Рахметовым. Молодость - это отрицание, основанное на жажде самоутверждения; она импульсивна, а потому ею легко управлять. Молодость революционна, пишет Джеймс

Олдридж, давая оценку творчеству Владимира Маяковского: «Его произведения – гимн молодости. Это, по-моему, является ключом к пониманию Маяковского»⁷. Молодость – ключ к пониманию революционного времени и молодой пролетарской литературы, которая начиналось в 20-е годы с показа «максимально героического человека масс», органически связанного с революцией, победившей благодаря «железной воле» множества таких, как он. О них поэты писали: «гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей!» «Железным потоком», как у Александра Серафимовича, устремлялись такие люди к победе в романах о Гражданской войне.

В 30-е годы героизм молодости будет нужен для трудовых подвигов. Потому что молодому поколению предстояло построить то, что никто никогда в человеческой истории не строил. Именно поэтому советская литература объявила «социалистический труд» категорией надличностной. Человек превратился в придаток машины или завода, всего лишь инструмент, пусть даже инструмент исторический. Эту новую реальность показывали романы «Люди из захолустья» Александра Малышкина, «Гидроцентральный» Мариэтты Шагинян, «Большой конвейер» Якова Ильина. Об этом же, защищая человеческое, пишут Андрей Платонов и Михаил Булгаков, Иван Бунин и Иван Шмелев. В советский период, как и в XIX веке, оппозиционная литература была, пусть только в самиздате, в вымаранных цензурой вариантах. Классовая пролетарская литература и оппонировавшие ей писатели-«попутчики» и эмигранты тесно связаны, полемически направлены друг против друга в осмыслении образов и идей времени.

Многим героям книг Андрея Платонова присуща та же фанатичная устремленность к воплощению идеи. Вот, перечитывая «Вопросы ленинизма» и открывая в книге через историческую целесообразность «близкое дно истины», герой «Ювенильного моря» Николай Вермо ощущает душевное спокойствие и «счастливое убеждение жизни». Но испытываемое им счастье сопричастности делу большого товарищества – созиданию нового

мира и электричества – сопровождается в нем чувством своей незначительности. Он понимает большевистский расчет «на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела»⁸. И оказывается, что из этих аскетичных, истощенных физически тел получается не менее аскетическая и скудная реальность. Родство героя и революционной идеи, как родство сиамских близнецов, - логика ее развития становится логикой его существования. Гибель одного означает гибель другого.

Эта вера и эти идеи, безусловно, связаны с национальным идеалом. Андрей Платонов дает здесь точный образ соединения великой гуманистической идеи, овладевшей массами, с антигуманностью событий. Он ярко проявляет противоречие между исторической миссией построения гармонического общества, характерной для русского культурного архетипа, и аскетизмом, крайней уцененностью самой человеческой жизни.

Женские образы: идеал и культурно-нормативные функции

Если с «героем советского времени» все более-менее понятно, то с женскими образами советской литературы не все так просто. Они могут быть, конечно, и «советскими героинями», как Любовь Яровая в пьесе Константина Тренева или женщина-комиссар из «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского – обе они приносят свое женское счастье в жертву революции. Этот мотив протестно и пронзительно описан Василием Гроссманом в повести «В городе Бердичеве», где временно останавливается комиссар Вавилова, чтобы родить ребенка и навсегда оставить его в многодетной еврейской семье, торопясь на фронты Гражданской. Советская литература утверждает: женщина-соратник – это главное революционное завоевание. Многие женщины были бойцами в Гражданскую, они и в 30-е совершали наравне с мужчинами трудовые подвиги.

Эта трактовка – основная в повести Федора Гладкова «Трагедия Любаши». Здесь проблема плохого качества пряжи перерастает в требование возвышения продуктов труда. Именно поэтому муж на собрании призывает жену к ответу за производимый бригадой брак, и секретарь парткома прямо говорит: «Нам вещь, материал, машина, ежели хочешь знать, дороже черта рогатого... Ты себя сохранишь, а вот научись вещь сохранить...»⁹. Этот тренд был задан еще Николаем Островским в романе «Как закалялась сталь»: сверло объявлялось для страны и для партии чем-то несравнимо более важным, чем тот, кто его сделал.

Вместе с тем женщины в сюжетах советской литературы выполняли и иные функции. Чаще всего они служили проверке мужчин-бойцов на прочность. Вспомним Лушку – любимую женщину Макара Нагульнова, наиболее яркого и выразительного персонажа «Поднятой целины». Лушка живет в станице, рядом с ним, искушая красотой и страстью. Но революционная идея для Нагульнова – нечто более реальное, чем любимая женщина, привязанность к которой уже списана им в анналы истории. Макар устремлен только в будущее и, ночи напролет корпя над английским языком, готовит себя к ожидаемой не сегодня-завтра всемирной революции.

Для чего еще в советской литературе нужна женщина? В прямолинейной идеологии романа Петра Павленко «На Востоке» гибель любимой женщины играет организующую социальную роль. Никакой психологии: влюбленный герой рассудочно отодвигает от себя невозполнимую утрату женщины, которую уже втайне считал своей женой, и деловито рассуждает о необходимости жениться на ком-то еще. И он не одинок в своей «бесчувственной» деловитости. Читаем: «На Дальнем Востоке не видно вдов... Все, способное любить, любит и плодоносит»¹⁰. Смерть женщины трагична не потому, что она обладает неповторимым внутренним миром. И не потому, что страстно любима. Главное, что смерть путала сметы, ломала планы других. И выступала организующей силой: величавый и грозный подвиг уходящей из жизни героини открывал для

остальных возможность жить более радостно и «величаво». Трудновато совместить это с глубоким психологизмом русской классической литературы. Но все же связь здесь есть. Ее источник – именно глубинная святость, сакральность женского образа в русской культуре.

На Руси еще в древности женщина вошла в число идеальных образов. В «Повести временных лет» есть удивительные строки о «мудрых женах» - о молении Ярославны, о постигшей истинную веру княгине Ольге, о спасшей мужа любовью и святостью Февронии Муромской. Многие от них есть в пушкинской деве со светлой душой - в Татьяне Лариной. Но более всего удались женские образы Ивану Сергеевичу Тургеневу – удались с самого начала его писаний в 1843 году о быте дворянской усадьбы в поэме с милым названием - «Параша». В.Г. Белинский тогда написал о Тургеневе: «Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность»¹¹.

Женские образы Тургенева, прежде всего, идеальное зеркало – в них сразу видна и сила, и слабость героя. Вот тургеневский «лишний человек» Рудин: «лишность» его отчетливо видна именно рядом с Натальей Ласунской – натурой цельной, увлеченной, способной любить и действовать во имя высокой цели. Драматизм любви тургеневской Аси в том, что возлюбленный оказался слабым и безвольным. Прав был Чернышевский, когда написал в статье «Русский человек на rendez-vous», что России, как и любящей женщине, нечего ждать от такого представителя либеральной дворянской интеллигенции. У Тургенева многие герои желали бы быть полезными родине, но не находят в себе силы что-либо изменить. А потому Лиза Калитина, девушка религиозная, чуткая на несправедливость и – обязательно!- «русская душою», много выше, чем все лаврецкие вместе взятые. Вот и Елена Стахова из романа «Накануне» ищет идеала служения: недаром писал Добролюбов: «сказалась в ней та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество...»¹². Сцена романа, передающая разговор между Еленой и Инсаровым, боявшимся, что она не

найдет в себе сил так же служить делу, как служит он, поразительно напоминает известный разговор молодого Чернышевского со своей невестой Ольгой Сократовной.

Многие русские писатели задавались вопросом, почему «идеальные герои-мужчины» в их произведениях часто выходят ненатуральными, натужно-ходульными. Иное дело – идеальная женщина. У Льва Толстого в его любимых героинях - Наташе Ростовой, Анне Карениной, и особенно в Катюше Масловой, - как в тургеневских девушках, сквозь утраченные иллюзии, сквозь стыд от греха, сквозь мертвечину обыденного пробивалась изначальная чистота и святость женских образов «священной русской истории».

Так что советской литературе в наследство досталась женщина-символ. Этот символ особенно укрепился в поэзии Серебряного века: женское начало в природно-религиозном смысле утверждал русский философ Владимир Соловьев. Он, а вслед за ним и младосимволисты видели особую роль женского начала в православной культуре как начала творческого, созидательного, мудрого. София – четвертая божественная ипостась - наряду со Святой Троицей мыслилась ими как первооснова русской культуры. Символическое сращение образа русской женщины с образом России, обретающее сакральный характер, находим в одноименном стихотворении Александра Блока.

Советская литература 30-х годов, отрицая всю предшествующую культуру, тем не менее эксплуатирует этот самый сакральный женский образ, чтобы показать глубину революционной жертвы, разрыва с непосредственной реальностью бытия, с кровной и любовной близостью. Это и есть революционный идеал – идеал «очищения» во имя служения идее. И чем святотатственнее и безысходнее разрыв, который демонстрировала советская литература, тем величественнее обет «крещения» «новым» миром. Михаил Светлов, которого знают в основном по его стихотворению

«Гренада», в 1936 году опубликовал в журнале «Красная новь» свою «Песню» с такими строками:

Товарищи! Быстрее шаг!
 Опасность за спиною:
 За нами матери спешат
 Разбросанной толпою.

 Родную мать встречай штыком,
 Глуши ее прикладом.
 Нам баловаться сотню лет
 Любовью надоело,
 Пусть штык проложит новый след
 Сквозь маленькое тело¹³.

...Понять степень пролетарского святотатства советской поэзии можно, лишь обратившись к древним архетипам русской культуры, против которых направлены этот «штык» и этот «приклад». Перед нами революционная диалектика, намертво связанная с идеалами России, с пониманием того, «кто мы» и «куда мы идем». Недаром в сороковые-роковые, в суровую годину Великой Отечественной войны, когда встал вопрос о существовании самого государства, вместе с песенным призывом к народу «Вставай, страна огромная...» появится плакат: «Родина-мать зовет!»

История России в контексте мифа «крови и почвы»

На вопрос «кто мы?» отвечают, по определению К. Леви-Стросса, ранние семейно-родовые мифы. Великая Мать, Родина – двойник абсолюта, предельный смысл бытия нации как единой большой Семьи. Этот архетип русской культуры настолько сильный, что способен порождать особые субкультуры: например, русское казачество как сословие «защитников Родины». Г. Маркузе вообще считал, что Россия время от времени впадает в тоталитаризм из-за мощности нашего национального мифа «крови и почвы».

Древний образ Матери-Родины, существовавший у древних египтян как «сестра-жена», у древних иудеев как «община-невеста», у американцев как земля-Свобода, в России тесно связан с Богородицей. Ее Покров, простертый над Россией – один из самых почитаемых православных праздников. Он соединяет идею патернализма со священным женским началом.

На Руси в период христианизации образ языческой Великой Матери соединился с культом Богородицы и ее покровительством. Отсюда и дети – не те, кто родны по крови, а те, кто последовал за учением. За несколько веков понятия «православный» и «русский» постепенно сливались в одно целое: многие христианские святые приняли облик древнеславянских языческих богов и наоборот. Языческое ряжение с его идеей обновления попало в святочную обрядность. И точно также из традиционного православного Рождества появился в XX веке атеистический советский Новогодний праздник, возглавляемый не Санта Клаусом или Святым Николаем-угодником, а древнерусским языческим Дедом Морозом.

В древнем литературном памятнике «Повесть временных лет» есть множество жанров, тем, образов. И одного только нет - хотя бы одной-единственной хроники, которая прославляла бы распад Древней Руси или противоречила бы идее собирания и укрепления Русских Земель. Идеей единства Руси оправдывается жертва князей Бориса и Глеба; она прочитывается в доводах митрополита Иллариона о праве русской православной церкви на независимость от Византии; она движет всеми прославляемыми персонажами художественной летописи длиной в семь веков. Собираение Земли Русской во всех смыслах – вот главная национальная идея, которая объясняла смысл всего, происходящего в русском средневековье.

«Собираение земель» - исторический стержень российского Отечества. Но важно еще и то, как это собирание осуществлялась. Мы бы сказали сейчас – опираясь «на мягкую силу», на патернализм русского народа, который выступал как «старший среди равных». История отношений с коренными

народами Сибири во времена их присоединения к России не знала фактов кровавой бойни, подобной, скажем, геноциду индейцев Северной или Южной Америки.

В одной из старинных хакасских сказок, описанных и переведенных в 1952 году собирателем богатырских сказаний Иваном Кычаковым и писателем-историком Анатолием Чмыхало, повествуется о народном герое Чинисчи-победителе, поборовшем Хозяина Черной Горы-Харатаг и освободившим из рабства людей¹⁴. Рядом с ним в самый критический момент появляется «орыс кизи» - русский человек. Он спасает героя в непосильном испытании, дает мудрые советы и протягивает руку помощи в решающем бою. Древние сказания, как известно, всегда имеют фактическую основу. Последним этапом освоения русскими берегов Енисея в XVII веке был выход в хакасские степи и предгорья Саян. Хакасы обращались с просьбами к сибирским воеводам поставить на их земле острог – защиту от монголов и джунгар, и в августе 1707 года Абаканский острог был построен, русское правительство предприняло сооружение оборонительной линии, расселив на ней казаков - и впервые на этих землях началась мирная жизнь. Так в идейном комплексе «собираения русских земель» проявилось мессианство русской нации, несшей «покров» Богородицы и мир всем народам, с которыми отныне ей предстояло жить долгие столетия.

Очевидно, что идея «собираения земель» в пролетарской культуре XX века – на фоне мессианства - легко преобразилась в идею всемирной революции труда и справедливости, идеал которой несли «порабощенным рабочим» планеты народы России. Первые революционные дни еще были временем гуманистических колебаний для многих писателей. Горький даже написал «Несвоевременные мысли», чем вызвал критику Ленина. О том, что человек оценивается и после революции так же дешево, как и раньше, писал В. Короленко к А. Луначарскому, о гибели людей и разрушении культуры в огне революции горячо говорил Константин Федин в своих откликах. Но несмотря на все их сомнения, было для них в революции нечто, что не могло

не захватить, не увлечь. Лучше всего об этом написал, наверное, Александр Блок, который принял революцию не как норму, а как апокалипсис, исключительное в своей беспощадности и святости искупление. И это тоже было близко традициям русской культуры. Блок видел в традиционном гуманизме главным образом индивидуализм, в котором погрязла старая цивилизация. Подобно ему Владимир Маяковский, написавший сразу после революции пьесу «Мистерия-буфф», утверждает: «Революция, прачка святая, с мылом всю грязь с лица земного смыла»¹⁵. Так чувствовали многие, но сомневались. Только к началу 30-х годов голоса несогласных умолкнули. Что заставило их замолчать? Что сподвигло «революционного романтика» Горького встать у руля нового – вполне рационального – пролетарского литературного метода? И куда девался архетип «мягкой силы», исповедуемый до этого в русской культуре?

Аспекты культурной революции: от идеи народа к движению массы

Чтобы понять это, обратимся к наследию Льва Толстого, которому Горький 25 апреля 1889 года направил свою просьбу: «Лев Николаевич! Я был у Вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что Вы хвораете и не можете принять. Порешил написать Вам письмо. ...Мы решились прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, которая, как говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли. Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, которые облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что вы не откажете дать нам книги «Исповедь», «Моя вера» и прочие, не допущенные в продажу... От лиц всех – нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков»¹⁶. Горькому было, что просить у Толстого: классическая русская литература нашли высшее проявление многих своих мотивов, сюжетов и литературных типов в позднем творчестве Толстого, как и в наследии Федора Достоевского. Главные вопросы – «кому на Руси жить хорошо? кто виноват и что делать?» - получили у них не только углубленное художественное развитие, но и философское завершение.

Из всех сторон этой проблемы – «личность и среда», «личность и толпа», «личность и народ», «интеллигенция и народ» - самой загадочной, пожалуй, остается идея народа. В ней есть нечто мистическое, она выступает как олицетворение от века данной нравственности, «бога и душе». Такая нравственность врожденна, с ней связаны страдание и искупление «униженных и оскорбленных», «соблазн ненасилия», патриархальные традиции. Личность, оторванную от этого первородного нравственного начала, искушают «бесы». Главный из них – насилие. И казнится всякое насилие самим делом, для которого делается.

Лев Толстой убежден: «безумству обычного» может противостоять только реформа сознания человека и человечества, формирование нового типа личности, которая впитывает в себя «идею народа». В русской душе заложено немало смыслов. Кроме «бога в душе» и природной нравственности есть в ней представления об общинном строе жизни, есть и понимание уравнительной справедливости, есть и терпение, и бунт. Вот эти-то черты национального облика и сыграли главную роль, когда началось движение «революционных масс». В самом начале 20-х годов Евгений Замятин в романе «Мы» осмыслил одну из скрытых тенденций, заключенных в понятии «равенство» - уравниловку, господство серости, угнетение свободной индивидуальности. К 30-м годам стихийный энтузиазм демократического движения первых лет Советской власти сменился четко регламентированным энтузиазмом укрепляющейся тоталитарной системы. «Мягкая сила» была канализирована: теперь она – только для «своих»: для рабочего класса и коммунистов. В зависимости от принадлежности к ним члены общества делились на людей «первого» и «второго» сорта. Это подтверждают, кстати сказать, документы и материалы партии, в которых на рубеже 30-х годов то и дело мелькает новое слово - «комчванство». Об этом кастовом превосходстве пишет Михаил Булгаков в «Собачьем сердце» – так чудовищна швондеровская заносчивость хозяина мира, попавшая на почву духовного наследия пса Шарика и Клима Чугункина.

В конце 20-х годов в пролетарской литературе «классовость» идет рука об руку с ненавистью. О гуманизме, «мягкой силе» нет и речи. Главное - сразу определить степень классовой вины человека. Но такое положение существует недолго. Мы уже говорили о том, что инородная идея не может долго существовать в роли национальной, будучи оторвана от архетипов культуры. Пора было возвращаться к освященным традициями понятиям.

Понимание нового «пролетарского гуманизма» было доложено Горьким и закреплено на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году. В резолюции съезда сказано: «Мы стали единственными гуманистами мира, пролетарскими гуманистами»¹⁷. В соответствии с временем ведущей стороной, определявшей главное качество «мужественного гуманизма» новой литературы, была объявлена ненависть. Но не одна она – Горький говорил еще и о гордости, о радости и любви.

Действительно, нельзя не любить соратников, людей, которые «породнены» идеей строительства будущего справедливого общества. И это было очень важно: перестать проповедовать классовость и говорить о «гуманизме», воскрешая саму душу русской культуры! Да, этот гуманизм был с приставкой - «пролетарский». Но он хоть в какой-то мере реабилитировал характерное для русской литературы человеческое начало в советский период. И все - во имя великой цели: полного освобождения трудового народа всех рас и наций от железных лап капитала. Отсюда и радость как одна из сторон нового гуманизма была тесно связана с социально-экономическими истоками счастья.

Однако антитеза «счастье - горе» во все времена относилась к области гуманистических идей и сама по себе не содержала ничего для литературы нового. Трагическое, традиционно считавшееся едва ли не синонимом эстетического, воспринималось в традиционной культуре как механизм для обнажения в душе всего подлинно человеческого. Горький это понимал, но с ним спорили пролетарские писатели, видя в классической литературной традиции только «бухгалтерию человеческого горя». Автор этого выражения

Антон Макаренко просто уличал классиков в беспомощности при изображении счастья, даже в любви. Он не допускал мысли о том, что счастье по самой своей природе не может быть предметом художественного изображения, так как в основе последнего лежат конфликты и противоречия.

Макаренко категорически настаивал на мастерстве советской литературы в изображении счастья. Вот он пишет: «Мы научились быть счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем можно гордиться... Оно принадлежит только нам – искренним и прямым членам бесклассового общества»¹⁸. Здесь источником радости и гордости выступает пролетарская избранность. Счастье героя – результат его принадлежности определенному классу, обществу и оно почти не зависит от нравственного выбора личности и ее достижений.

Как же ловко пришлась новая национальная доктрина по мерке традиционной «русскости» и мессианства русской литературы! Как заманчива оказалась идея исключительности пролетарской революции, социально-классовой «избранности» с ее максимами – «впервые», «новый мир», «самый грандиозный и единственно справедливый»! Поистине свинец универсальной классовости разлился в удобную для нее культурную матрицу. «Старый гуманизм говорил: «Мне все равно, чем ты занимаешься, мне важно, что ты человек». Социалистический гуманизм говорит: «Если ты ничем не занимаешься и ничего не делаешь, я не признаю в тебе человека, как бы ты ни был умен и добр»¹⁹ – это написал Александр Фадеев. Впрочем, «старому гуманизму» тоже нашлось место в советской литературе – он стал обязательным атрибутом образа врага, главного антагониста и постоянного спутника «героя массы».

Социокультурная трансформация сатиры: образ врага

Идеал в «знаменателе» русской жизни причиной того, что русский человек легче верит плохому, чем хорошему. Как в народном анекдоте: «Пессимист говорит: - Хуже уже не будет. Оптимист добавляет: - Будет, будет!» Именно поэтому в русской литературе со времен «Повести

временных лет» живет мощное сатирическое начало. О внесловной ценности человека писал в своем «Молении» Даниил Заточник, с иронией повествуя о «милостях» богачей, злонравии жены, неверности друзей. Иронией пронизан «кусательный стиль» посланий Ивана Грозного боярину Андрею Курбскому. Ловким дельцом выведен судья в повести «Шемякин суд», горькая исповедь доведенного до отчаяния бедняка читается за строками «Азбуки о голом и небогатом человеке», «Послание доверительное другу» наполнено сатирой и обличением. Но особое радение о благе государства российского я всегда видел у князя Антиоха Кантемира – русского поэта, переводчика, дипломата, просветителя начала XVIII века, писавшего свои бессмертные сатиры. Наука и поэзия в жизни Кантемира были ценны настолько, насколько могли принести пользу России и ее народу. Антиох Дмитриевич стремился к искоренению невежества, пьянства и суеверий, сатирически разоблачал обман купечества и продажность чиновничества. В письме Н.Ю. Трубецкому он пишет, что хороший чиновник должен озаботиться тем, чтобы «правда цвела в пользу люду», чтобы «страсти не качали весов» правосудия, чтобы «слезы бедных не падали на землю». Написавший девять сатир, которые при жизни не издавались, зато были хорошо известны в списках, переводивший немало современных сатирических французских и античных произведений на русский язык, просветитель свою собственную пользу усматривал единственно в «общей пользе». Именно князь Кантемир ввел в русскую литературу высокое слово – «гражданин»: «Все, что я пишу, пишу по должности гражданина, отбивая все, что согражданам моим вредно быть может.»²⁰

После Кантемира сатира была представлена комедиями Фонвизина и Грибоедова, на смену которым пришли гротескные образы Гоголя и Салтыкова-Щедрина, первых в большой школе сатиры XIX века. К недрах этой школы развивался и талант Павла Ивановича Мельникова, писавшего под псевдонимом «Андрей Печерский». Сначала учитель провинциальной

гимназии и историк-краевед, а затем один из ведущих знатоков старообрядчества и чиновник царской канцелярии – Мельников был так же, как Кантемир, административным донкихотом – он искренне верил, что путь государственной службы был едва ли не единственным для каждого передового человека, желавшего принести родине хоть малую, но реальную пользу. Именно в ежедневной борьбе со злоупотреблениями и утопических мечтах родился самобытный писатель Андрей Печерский. Успех рассказа «Красильниковы» весной 1852 года захватил Петербург – его читали нарасхват. А потом, после смерти Николая I в 1856 году, заговорили об отмене права, о преобразовании суда, был ослаблен цензурный гнет – и тут же вышли сборник стихов Некрасова «Поэт и гражданин», «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и серия рассказов Мельникова-Печерского.

Мельников писал: «Я с Салтыковым по одной дорожке хожу: что Щедрина, то и Печерскому»²¹. В своих поздних романах Мельников устами досужего рассказчика Андрея Печерского повествует о дикости провинциальной жизни как бы «в простоте душевной», будто и не замечая ядовитых, опасных поворотов критики среди идиллических картинок да народно-песенных оборотов.

Эта ветвь русской сатиры, сформировавшаяся к концу XIX века, вроде бы уже совсем не смешна – она скорее поражает и ужасает. Именно это «серьезное качество» сатиры унаследовала и советская литература. Конечно, линия гротеска в литературе 20-х годов продолжится, прежде всего в поддерживаемых новой властью стихах и пьесах Владимира Маяковского. Но только потому, что будет приветствоваться как агитационный материал. Вышедшая в 1929 году пьеса «Баня» читалась Маяковским на вечерах в клубах, в музеях, на радио и заводах, по ней принимались резолюции – «против узости, делячества, бюрократизма – за героизм, за темп, за социалистические перспективы»²².

В 20-е годы популярными еще будут одесские рассказы Исаака Бабеля и сатирические сюжеты Ильфа и Петрова, иронические пьесы и рассказы

Михаила Булгакова и Михаила Зощенко. Вслед за ними посмеялся над одушевлением предметов и результатов труда в своей повести «Зависть» Юрий Олеша. В ней до символического масштаба вырастает сатирический образ производимой Андреем Бабичевым колбасы, свисающей с его ладони, как нечто живое, вылезающей из инкубаторов, «покачиваясь грудным качанием хобота». Она для героя – «невеста», «красавица», так же, как придуманный им комбинат питания «Четвертак» – высший смысл его жизни.

Но чем дальше от съезда к съезду советских писателей двигалась литература СССР, тем меньше она хотела видеть в своих рядах «смешную сатиру» и даже просто иронию. Свидетельством тому – творческие судьбы Михаила Булгакова и Михаила Зощенко. Доктрина социалистического реализма полагала революционные преобразования общества делом серьезным. Поэтому сатиру на социальные темы зажали в жесткие культурно-нормативные рамки: поток сатиры предельно сузился и большей частью переключался в нецензурный фольклор. Но компенсаторно на почве сатирической серьезности и пафоса «социального ужаса» в этот период оформляется образ врага.

К этому образу предъявлялись жесткие нормативные требования. Во-первых, фон произведения – чаще всего декорации революции, гражданской войны, индустриализации, коллективизации. На таком фоне более мотивированной выглядела атмосфера опасности, угрозы, тревоги. Далее в блок «вражеских» идей неизменно включается, как мы уже говорили, гуманизм русской классической литературы. Об этом прямо писала критика, утверждая, что гуманизм, жалость к человеку, к его страданиям, к единственной слезинке, пролитой ребенком, из-за которой стоит отказаться от входа в социальный рай, в сущности является самым тонким покровом, под которым скрывается лицо хищника, и социалистической литературе еще предстоит «посчитаться» со всеми проблемами мировой литературы, со всеми ее «проклятыми» вопросами²³.

Слезинка ребенка упомянута в сборнике статей Горького «Если враг не сдается – его уничтожают» совсем не случайно. Философия Федора Достоевского на съезде 1934 года была официально осуждена. Впрочем, и Льва Николаевича Толстого недолюбливали, но молча – все-таки о нем писал В.И. Ленин, называя «зеркалом русской революции». Тема «гуманистической жалости», начиная с «Рассказа о простой вещи» Бориса Лавренева (1923 г.), вошла во многие произведения последующего десятилетия. Ее поставила в центр одноименной повести Валерия Герасимова. Герои ее повести «Жалость» относятся к «ложному гуманизму» Достоевского, как к «разъедающему раку». Именно маскирующийся враг Померанцев, «умный и ненавидящий противник», убийца Татьяны, читает лекцию о гении Достоевского.

Образы интеллигентов из «бывших» – только один корень идеологической концепции врага в литературе. К нему с середины 30-х годов примыкает и другая разновидность – бывший лояльный попутчик, даже единомышленник, часто правооппортунист или троцкист. Эту тенденцию тонко чувствуют писатели гуманистической оппозиции. В «Ювенильном море» А. Платонова в категорию «врагов социализма» попадает некто Умрищев. Этот философствующий старичок, один из платоновских чудаков, вообще оказался в степном краю по «невьясненности». Считая его врагом социализма, «новые люди» и бесконечно обвиняют его, и мирятся с ним как с неизбежным злом. Вечный Умрищев как символ врага, в той же мере бессмысленный, в какой и случайный, сущностно необходим тоталитарной системе, цель которой – борьба, средство – человек.

К середине 30-х годов образ врага обретает новых носителей в связи с темой коллективизации и переносом коммунистических идей на крестьянскую почву. В отличие от рабочего крестьянин – второсортный человек, сырье, из которого еще предстоит сделать великого труженика социалистического общества. Именно так ставит проблему А. Малышкин в «Людях из захолустья», характерны в этом смысле и «Бруски» Ф. Панферова.

Так отношение к событиям с позиции крестьян было объявлено вредоносным, «кулачеством», а соображения пролетариата по крестьянскому вопросу – подлинно крестьянскими. На этой почве пролетарская критика обрушилась на подавляющее большинство крупных писателей, в том числе М. Шолохова, С. Сергеева-Ценского, А. Веселого, А. Платонова. Произведения этого течения, в отличие от майнстрима советской литературы, дают основу для размышлений над категориями трагической ошибки, вины, нравственного выбора. Понять эти искания в отрыве от советского «пролетарского гуманизма» невозможно. Как видим, советская литература не только сохранила, но довела до предела линию политической декламации и, напротив, постепенно свела на нет линию социальной сатиры. Русская литература в советском варианте поменяла полюса, но сохранила вектор.

Культурно-идеологическая направленность «оттепели»

Еще сложнее стали взаимоотношения метода социалистического реализма с традициями русской литературы XIX в. в период «оттепели»: критика приглашала к «обогащению содержания» за счет классиков, но как-то робко и неуверенно. Вышло полное собрание сочинений Льва Толстого. Умалчивая о ненависти и классовости в концепции Горького, критика теперь выдвигала на первый план гордость и радость, стремление «стать с веком наравне». Литературная полемика «оттепели» была первым шагом к освобождению художественного сознания. Наряду с появлением книг «Теркин на том свете» А. Твардовского, «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына происходит восстановление в литературе имен и произведений И. Бабеля, А. Вронского, И. Катаева, В. Корнилова, М. Кольцова. В это время обдумывает своего будущего персонажа-манкурта, забывшего свою культуру, Чингиз Айтматов. В советской литературе лидирует в эти годы романтика, в которой угадывается человеческое, совсем как в раннем горьковском романтизме, который приветствовался. А раздражало как раз бытописание первых публикаций «писателей-деревенщиков».

Безудержный оптимизм времени, узнавшего новые слова – «химия», «кибернетика», «космонавтика», «искусственный интеллект», - собирал шумные аудитории поэтических вечеров. А критика «оттепели» погорьковски утверждала: «героика и романтика коммунизма требует героики и романтики от литературы». Потребуется еще два десятка лет, чтобы одни традиционные архетипы отечественной культуры восстановились в своих правах, а другие, (например, образ «Родины-матери») потеряли свою актуальность благодаря моде на все западное и суровым будням «строительства капитализма» и потребительского общества.

Заключение

Как видим, из одного архетипического корня – русского национального идеалообразования – вышли несколько смысловых культурных традиций и целый ряд национальных образов и идей. Генерация этих идей и образов характерна не только для древности: она происходит постоянно, и особенно активно - в переломные моменты национальной истории. Происходит она по определенной схеме, когда историческая ситуация вызывает к жизни определенный культурный архетип, порождая его идеологические интерпретации, которые тем не менее не могут противоречить устойчивой культурной матрице народа. Большевикам, например, не удалось совершить половую революцию, как мечталось. Революционная молодежь в первые годы советской власти пыталась активно претворить в жизнь «половой коммунизм». К нему призывала Александра Коллонтай, первая женщина-министр в истории – она была наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве (1917-1918). В Петрограде в то время на 100 заключаемых браков приходилось 92 развода, процедура которых была сильно упрощена. Но молва по всей России о том, что в коммуне «все будут спать под одним одеялом», привела к массовым волнениям. Дошло до вооруженного сопротивления – и пропаганда стала постепенно замещать таинство свободной любви созданием новой семьи – «ячейки

социалистического общества». Архетипы культуры могут быть на редкость устойчивы, хотя порой нужен внешний стимул, чтобы их актуализировать.

То, что «дремлет» в коллективном сознании, оказывается востребованным через годы новыми историческими обстоятельствами. Национальные идеи могут сильно отличаться друг от друга в разные периоды отечественной истории, но, как правило, всегда связаны с культурными корнями. В устойчивой социокультурной матрице народа, история которого насчитывает более тысячи лет, есть многое. В архетипах русской культуры есть синева Покрова Богородицы, та синева, которая знаменует общинную жизнь миром и идеалы справедливости. Но есть в ней и революционный багрянец «бунта», замешанный на утопических социальных идеалах. А потому очевидно, что прежде всего в самом характере народа, в его идеалах заложена его историческая судьба, которую никто не способен навязать и от которой никто не даст избавления, ибо она определяется в первую очередь самим выбором народа в критическую эпоху. И необходимо чаще вчитываться в наследие тех российских мыслителей – философов и писателей, которые помогают увидеть в белом свете истины тайные глубины национальных идей, постичь иные, чем геральдические, смыслы символического соединения в российском триколоре трех великих цветов русской истории – синего, красного и белого.

References

1. Мифы и мифология в современной России. М. 2000. С.5.
2. Алексеева, В.А. Этнос//Современный философский словарь/Под общ. ред. В.Е. Кемерова – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск. 1998. С. 1039.
3. Толстой, Л.Н. Собр. соч. в XXII т. М. 1984. Т. XIX-XX. С. 32.
4. Чернышевский, Н.Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т. М. 1949. Т.14. С. 456.
5. Федотов, Г.П. Россия и свобода. Знамя. 1989. № 12. С. 212.

6. Павленко, П. А. На Востоке. Собр. соч. в 6т. Т.1. mirror7.ru.indbooks.in/?page-id=57327. 2018-10-06
7. Маяковский, В.В. Собр. Соч. в 6 т. М. 1973. Т.6. С.324.
8. Платонов, А. Ювенильное море: повести, роман. М. 1988. С. 75.
- 9.Гладков, Ф. В. Трагедия Любаши: Повесть. М. 1935. Цит по: Search.rsl.ru/ru/record/01005274272. 2018-10-06
10. Павленко, П. А. На Востоке. Собр. соч. в 6т. Т.1. mirror7.ru.indbooks.in/?page-id=57327. 2018-10-06.
11. Цит. по кн. :Тургенев, И.С. Собр. соч. в 12 т. М. 1953. Т. 1. С.9.
12. Там же. С. 37.
13. Светлов, М. Песня. A-pesni.org/grvojna/poesia/svetlov.php. 2018-10-05
14. Кычаков, И., Чмыхало, А. Хакасские сказки. Иркутск. 1952. 74с.
15. См: Маяковский, В.В. Мистерия-буфф. Собр. соч. в 6 т. Т.2 С.3-118.
16. Переписка М. Горького в 2-х т. М. 1986. Т.1. С.33.
17. Первый Всесоюзный съезд советских писателей: стенографический отчет. М. 1934. С.154.
18. Макаренко, А. Счастье. Русские писатели о литературном труде. Сб. в 4-х т. Л. 1956. Т.4. С.758-759.
19. Фадеев, А. За тридцать лет. Избр. статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М. 1959. С. 924.
20. www.krugoswet.ru/enc/literatura/kantemir-antioh-dmitrievich 2018-10-05
21. Мельников, П.И.(Андрей Печерский) Собр. соч. в 8 т. М.1976. Т.1. С. 27.
22. Маяковский, В.В. Собр. соч. в 6 т. М. 1973. Т.1. С. 6.
23. Горький, М. Если враг не сдается – его уничтожают. Сб. статей. М. 1938. С.300.